
**Малое
собрание
сочинений**

Гайто
ГАЗДАНОВ

Малое
собрание
сочинений



Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6
Г 13

Серийное оформление Ильи Кучмы

Оформление обложки Виктории Манацковой

ISBN 978-5-389-07529-0

© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®

Вечер у Клэр

Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой.

А. С. Пушкин

Клэр была больна; я просиживал у нее целые вечера и, уходя, всякий раз неизменно опаздывал к последнему поезду метрополитена и шел потом пешком с улицы Raupouard на площадь St. Michel, возле которой я жил. Я проходил мимо конюшен Ecole Militaire¹; отсюда слышался звон цепей, на которых были привязаны лошади, и густой конский запах, столь необычный для Парижа; потом я шагал по длинной и узкой улице Babylone, и в конце этой улицы в витрине фотографии, в неверном свете далеких фонарей на меня глядело лицо знаменитого писателя, все составленное из наклонных плоскостей; всезнающие глаза под роговыми европейскими очками провожали меня полквартала — до тех пор, пока я не пересекал черную сверкающую полосу бульвара Raspail. Я добирался наконец до своей гостиницы. Деловитые старухи в лохмотьях обгоняли меня, перебирая слабыми ногами; над Сеной горели, утопая в темноте, многочисленные огни, и, когда я глядел на них с моста, мне начинало казаться, что я стою над гаванью и что море покрыто иностранными кораблями, на которых зажжены фонари. Оглянувшись на Сену в последний раз, я поднимался к себе в комнату и ложился спать и тотчас погружался в глубокий мрак; в нем шевелились какие-то дрожащие тела, иногда не успевающие воплотиться в привычные для моего глаза образы и так и пропадающие, не воплотившись; и я во сне жалел об их исчезновении, сочувствовал их вооб-

¹ Военное училище (*фр.*).

ражаемой, непонятной печали и жил и засыпал в том неизъяснимом состоянии, которого никогда не узнаю наяву. Это должно было бы огорчать меня; но утром я забывал о том, что видел во сне, и последним воспоминанием вчерашнего дня было воспоминание о том, что я опять опоздал на поезд. Вечером я снова отправлялся к Клэр. Муж ее несколько месяцев тому назад уехал на Цейлон, мы были с ней одни; и только горничная, приносящая чай и печенье на деревянном подносе с изображением худенького китайца, нарисованного тонкими линиями, женщина лет сорока пяти, носившая пенсне и потому не похожая на служанку и раз навсегда о чем-то задумавшаяся — она все забывала то щипцы для сахара, то сахарницу, то блюдечко или ложку, — только горничная прерывала наше пребывание вдвоем, входя и спрашивая, не нужно ли чего-нибудь madame. И Клэр, которая почему-то была уверена, что горничная будет обижена, если ее ни о чем не попросят, говорила: да, принесите, пожалуйста, граммофон с пластинками из кабинета monsieur, — хотя граммофон вовсе не был нужен, и, когда горничная уходила, он оставался на том месте, куда она его поставила, и Клэр сейчас же забывала о нем. Горничная приходила и уходила раз пять за вечер: и когда я как-то сказал Клэр, что ее горничная очень хорошо сохранилась для своего возраста и что ноги ее обладают совершенно юношеской неутомимостью, но что, впрочем, я считаю ее не вполне нормальной — у нее или мания передвижения, или просто малозаметное, но несомненное ослабление умственных способностей, связанное с наступающей старостью, — Клэр посмотрела на меня с сожалением и ответила, что мне следовало бы изодрать мое специальное русское остроумие на других. И прежде всего, по мнению Клэр, я должен был бы вспомнить о том, что вчера я опять явился в рубашке с разными запонками, что нельзя, как я это сделал позавчера, класть мои перчатки на ее постель и брать Клэр за плечи, точно я здороваюсь не за руку, а за плечи, чего вообще никогда на свете не бывает, и что если бы она захотела перечислить все мои погрешности против элементарных правил приличия, то ей при-

шлось бы говорить... она задумалась и сказала: пять лет. Она сказала это с серьезным лицом — мне стало жаль, что такие мелочи могут ее огорчать, и я хотел попросить у нее прощения; но она отвернулась, спина ее задрожала, она поднесла платок к глазам — и когда наконец она посмотрела на меня, я увидел, что она смеется. И она рассказала мне, что горничная переживает свой очередной роман и что человек, который обещал на ней жениться, теперь наотрез от этого отказался. И потому она такая задумчивая. — О чем же тут задумываться? — спросил я. — Ведь он отказался на ней жениться. Разве нужно так много времени, чтобы понять эту простую вещь? — Вы всегда слишком прямо ставите вопросы, — сказала Клэр. — С женщинами так нельзя. Она задумывается потому, что ей жаль, как вы не понимаете? — А долго длился роман? — Нет, — ответила Клэр, — всего две недели. — Странно, она ведь всегда была такой задумчивой, — заметил я. — Месяц тому назад она так же грустила и мечтала, как сейчас. — Боже мой, — сказала Клэр, — просто тогда у нее был другой роман. — Это действительно очень просто, — сказал я, — простите меня, но я не знал, что под пенсне вашей горничной скрыта трагедия какого-то женского донжуана, который, однако, любит, чтобы на нем женились, в противоположность Дон Жуану литературному, относившемуся к браку отрицательно. — Но Клэр прервала меня и продекламировала с пафосом фразу, которую она прочла в рекламной афише и читая которую смеялась до слез:

Heureux acquireurs de la vraie Salamandre
Jamais abandonnés par le constructeur!¹

Затем разговор вернулся к Дон Жуану, потом, неизвестно как, перешел к подвижникам, к протопопу Аввакуму, но, дойдя до искушения святого Антония, я остановился, так как вспомнил, что подобные разговоры не очень интересуют Клэр, она предпочитала другие темы — о театре, о музыке; но боль-

¹ Счастливые обладатели настоящей «Саламандры»,
Никогда не оставляемые фабрикой! (фр.) — Перев. автора.

ше всего она любила анекдоты, которых знала множество. Она рассказывала мне эти анекдоты, чрезвычайно остроумные и столь же неприличные; и тогда разговор принимал особый оборот — и самые невинные фразы, казалось, таили в себе двусмысленность — и глаза Клэр становились блестящими; а когда она переставала смеяться, они делались темными и преступными и тонкие ее брови хмурились; но как только я подходил ближе к ней, она сердитым шепотом говорила: *mais vous êtes fou*¹, — и я отходил. Она улыбалась, и улыбка ее ясно говорила: *mon Dieu, qu'il est simple!*² И тогда я, продолжая прерванный разговор, начинал с ожесточением ругать то, к чему обычно бывал совершенно равнодушен; я старался говорить как можно резче и обиднее, точно хотел отомстить за поражение, которое только что претерпел. Клэр насмешливо соглашалась с моими доводами; и оттого, что она так легко уступала мне в этом, мое поражение становилось еще более очевидным. — *Oui, mon petit, c'est très intéressant, ce que vous dites là*³, — говорила она, не скрывая своего смеха, который относился, однако, вовсе не к моим словам, а все к тому же поражению, и подчеркивая этим пренебрежительным «*là*», что она всем моим доказательствам не придает никакого значения. Я делал над собой усилие, вновь преодолевая искушение приблизиться к Клэр, так как понимал, что теперь было поздно; я заставлял себя думать о другом, и голос Клэр доходил до меня полузаглушенным; она смеялась и рассказывала мне какие-то пустяки, которые я слушал с напряженным вниманием, пока не замечал, что Клэр просто забавляется. Ее развлекало то, что я ничего не понимал в такие моменты. На следующий день я приходил к ней примиренным; я обещал себе не приближаться к ней и выбирал такие темы, которые устранили бы опасность повторения вчерашних унижительных минут. Я говорил обо всем печальном, что мне пришлось видеть, и Клэр становилась тихой и серьезной и рассказывала

¹ Но вы с ума сошли (фр.). — Перев. автора.

² Боже, как он прост! (фр.) — Перев. автора.

³ Да, то, что вы говорите, очень интересно (фр.). — Перев. автора.

мне в свою очередь, как умирала ее мать. — *Asseyez-vous ici*¹, — говорила она, указывая на кровать, и я садился совсем близко к ней, и она клала мне голову на колени и произносила: — *Oui, mon petit, c'est triste, nous sommes bien malheureux quand même*². — Я слушал ее и боялся шевельнуться, так как малейшее мое движение могло оскорбить ее грусть. Клэр гладила рукой одеяло то в одну, то в другую сторону; и печаль ее словно тратилась в этих движениях, которые сначала были бессознательными, потом привлекали ее внимание, и кончалось это тем, что она замечала на своем мизинце плохо срезанную кожу у ногтя и протягивала руку к ночному столику, на котором лежали ножницы. И она опять улыбалась долгой улыбкой, точно поняла и проследила в себе какой-то длинный ход воспоминаний, который кончился неожиданно, но вовсе не грустной мыслью; и Клэр взглядывала на меня мгновенно темневшими глазами. Я осторожно перекладывал ее голову на подушку и говорил: простите, Клэр, я забыл папиросы в кармане плаща, — и уходил в переднюю, и тихий ее смех доносился до меня. Когда я возвращался, она замечала:

— *J'étais étonnée tout à l'heure. Je croyais que vous portiez vos cigarettes toujours sur vous, dans la poche de votre pantalon, comme vous le faisiez jusqu'à présent. Vous avez changé d'habitude?*³

И она смотрела мне в глаза, смеясь и жалея меня, и я знал, что она прекрасно понимала, почему я встал и вышел из комнаты. Вдобавок я имел неосторожность сейчас же вытащить портсигар из заднего кармана брюк.

— *Ditez moi*, — сказала Клэр, как бы умоляя меня ответить ей правду, — *quelle est la différence entre un trench-coat et un pantalon?*⁴

¹ Садитесь сюда (*фр.*). — *Перев. автора.*

² Да, это грустно, мы все-таки очень несчастны (*фр.*). — *Перев. автора.*

³ Я была удивлена. Я думала, что вы носите папиросы в кармане брюк, как вы это делали до сих пор. Вы изменили этой привычке? (*фр.*) — *Перев. автора.*

⁴ Скажите мне... какая разница между плащом и брюками?.. (*фр.*) — *Перев. автора.*

— Клэр, это очень жестоко, — ответил я.

— Je ne vous reconnais pas, mon petit. Mettez toujours en marche le phono, ça va vous distraire¹.

В тот вечер, уходя от Клэр, я услышал из кухни голос горничной — надтреснутый и тихий. Она пела с тоской веселую песенку, и это удивило меня.

C'est une chemise rose
Avec une petite femme dedans,
Fraîche comme la fleur éclore,
Simple comme la fleur des champs².

Она вкладывала столько меланхолии в эти слова, столько ленивой грусти, что они начинали звучать иначе, чем обычно, и фраза «*fraîche comme la fleur éclore*» сразу напоминала мне пожилое лицо горничной, ее пенсне, ее роман и постоянную ее задумчивость. Я рассказал это Клэр; она отнеслась к несчастью горничной с участием — потому что с Клэр ничего подобного случиться не могло, и это сочувствие не пробуждало в ней личных чувств или опасений — и ей очень понравилась песенка:

C'est une chemise rose
Avec une petite femme dedans.

Она придавала этим словам самые разнообразные оттенки — то вопросительный, то утвердительный, то торжествующий и насмешливый. Каждый раз, как я слышал этот мотив на улице или в кафе, мне становилось не по себе. Однажды я пришел к Клэр и стал бранить песенку, говоря, что она слишком французская, что она пошлая и что соблазн такого легкокого остроумия не увлек бы ни одного композитора более или

¹ Я вас не узнаю. Заведите граммофон, это вас развлечет (*фр.*). — *Перев. автора.*

² Почти непереводаемо. Буквально это значит следующее:

Это розовая рубашка,
Внутри которой — женщина,
Свежая, как распутившийся цветок,
Простая, как цветок полей (*фр.*). — *Перев. автора.*

менее способного: вот в этом главное отличие французской психологии от серьезных вещей — говорил я: это искусство, столь же непохожее на настоящее искусство, как поддельный жемчуг на неподдельный. — В этом не хватает самого главного, — сказал я, исчерпав все свои аргументы и рассердившись на себя. Клэр утвердительно кивнула головой, потом взяла мою руку и сказала:

— Il n'y manque qu'une chose¹.

— Что именно?

Она засмеялась и пропела:

C'est une chemise rose
Avec une petite femme dedans.

Когда Клэр выздоровела и провела несколько дней уже не в кровати, а в кресле или на chaise longue² и почувствовала себя вполне хорошо, она потребовала, чтобы я сопровождал ее в кинематограф. После кинематографа мы просидели около часа в ночном кафе. Клэр была со мной очень резка, часто обрывала меня: когда я шутил, она сдерживала свой смех и, улыбаясь против воли, говорила: «Non, ce n'est pas bien dit, ça»³, — и так как она была в плохом, как мне казалось, настроении, то у нее было впечатление, что и другие всем недовольны и раздражены. И она с удивлением спрашивала меня: «Mais qu'est ce que vous avez ce soir? Vous n'êtes pas comme toujours»⁴, — хотя я вел себя несколько не иначе, чем всегда. Я проводил ее домой; шел дождь. У двери, когда я поцеловал ей руку, прощаясь, она вдруг раздраженно сказала: «Mais entrez donc, vous allez boire une tasse de thé»⁵, — и произнесла это таким сердитым тоном, как если бы хотела прогнать меня: ну, уходите, разве вы не видите, что вы мне надоели? Я вошел. Мы

¹ Здесь не хватает только одного (фр.). — Перев. автора.

² Шезлонг (фр.).

³ Нет, это не остроумно (фр.). — Перев. автора.

⁴ Что с вами сегодня вечером? Вы не такой, как всегда (фр.). — Перев. автора.

⁵ Ну, входите же, выпейте чашку чая (фр.). — Перев. автора.

выпили чай в молчании. Мне было тяжело, я подошел к Клэр и сказал:

— Клэр, не надо на меня сердиться. Я ждал встречи с вами десять лет. И я ничего у вас не прошу. — Я хотел прибавить, что такое долгое ожидание дает право на просьбу о самом простом, самом маленьком снисхождении; но глаза Клэр из серых стали почти черными; я с ужасом увидел — так как слишком долго этого ждал и перестал на это надеяться, — что Клэр подошла ко мне вплотную и ее грудь коснулась моего двубортного застегнутого пиджака; она обняла меня, лицо ее приблизилось; ледяной запах мороженого, которое она ела в кафе, вдруг почему-то необыкновенно поразил меня; и Клэр сказала: «Comment ne compreniez vous pas?..»¹ — и судорога прошла по ее телу. Туманные глаза Клэр, обладавшие даром стольких превращений, то жестокие, то бесстыдные, то смеющиеся, — мутные ее глаза я долго видел перед собой; и когда она заснула, я повернулся лицом к стене и прежняя печаль посетила меня; печаль была в воздухе, и прозрачные ее волны проплывали над белым телом Клэр, вдоль ее ног и груди; и печаль выходила изо рта Клэр невидимым дыханием. Я лежал рядом с Клэр и не мог заснуть; и, отводя взгляд от ее побледневшего лица, я заметил, что синий цвет обоев в комнате Клэр мне показался внезапно посветлевшим и странно изменившимся. Темно-синий цвет, каким я видел его перед закрытыми глазами, представлялся мне всегда выражением какой-то постигнутой тайны — и постижение было мрачным и внезапным и точно застыло, не успев высказать все до конца; точно это усилие чьего-то духа вдруг остановилось и умерло — и вместо него возник темно-синий фон. Теперь он превратился в светлый, как будто усилие еще не кончилось и темно-синий цвет, посветлев, нашел в себе неожиданный, матово-грустный оттенок, странно соответствовавший моему чувству и несомненно имевший отношение к Клэр. Светло-синие призраки с обрубленными кистями сидели в двух креслах, стояв-

¹ Как, вы не понимали?.. (фр.) — Перев. автора.

ших в комнате; они были равнодушно-враждебны друг другу, как люди, которых постигла одна и та же судьба, одно и то же наказание, но за разные ошибки. Лиловый бордюр обоев изгибался волнистой линией, похожей на условное обозначение пути, по которому проплывает рыба в неведомом море; и сквозь трепещущие занавески открытого окна все стремилось и не могло дойти до меня далекое воздушное течение, окрашенное в тот же светло-синий цвет и несущее с собой длинную галерею воспоминаний, падавших обычно, как дождь, и столь же неудержимых; но Клэр повернулась, проснувшись и пробормотав: «*Vous ne dormez pas? Dormez toujours, mon petit, vous serez fatigué le matin*»¹, — и глаза ее опять было потемнели. Она, однако, была не в силах преодолеть оцепенение сна и, едва договорив фразу, опять заснула; брови ее остались поднятыми, и во сне она как будто удивлялась тому, что с ней сейчас происходит. В том, что она этому удивлялась, было нечто чрезвычайно для нее характерное: отдаваясь власти сна, или грусти, или другого чувства, как бы сильно оно ни было, она не переставала оставаться собой; и казалось, самые могучие потрясения не могли ни в чем изменить это такое законченное тело, не могли разрушить это последнее, непобедимое очарование, которое заставило меня потратить десять лет моей жизни на поиски Клэр и не забывать о ней нигде и никогда. — Но во всякой любви есть печаль, — вспоминал я, — печаль завершения и приближения смерти любви, если она бывает счастливой, и печаль невозможности и потери того, что нам никогда не принадлежало, — если любовь остается тщетной. И как я грустил о богатствах, которых у меня не было, так раньше я жалел о Клэр, принадлежавшей другим; и так же теперь, лежа на ее кровати, в ее квартире в Париже, в светло-синих облаках ее комнаты, которые я до этого вечера счел бы несбыточными и несуществующими — и которые окружали белое тело Клэр, покрытое в трех местах такими постыдными и мучительно соблазнительными волосами, так же теперь

¹ Вы не спите? Спите, утром вы будете усталым (фр.). — Перев. автора.

я жалел о том, что я уже не могу больше мечтать о Клэр, как я мечтал всегда; и что пройдет еще много времени, пока я создам себе иной ее образ и он опять станет в ином смысле столь же недостижимым для меня, сколь недостижимым было до сих пор это тело, эти волосы, эти светло-синие облака.

Я думал о Клэр, о вечерах, которые я проводил у нее, и постепенно стал вспоминать все, что им предшествовало; и невозможность понять и выразить все это была мне тягостна. В тот вечер мне казалось более очевидно, чем всегда, что никакими усилиями я не могу вдруг охватить и почувствовать ту бесконечную последовательность мыслей, впечатлений и ощущений, совокупность которых возникает в моей памяти как ряд теней, отраженных в смутном и жидком зеркале позднего воображения. Самым прекрасным, самым пронзительным чувствам, которые я когда-либо испытывал, я обязан был музыке; но ее волшебное и мгновенное существование есть лишь то, к чему я бесплодно стремлюсь, — и жить так я не могу. Очень часто в концерте я внезапно начинал понимать то, что до тех пор казалось мне неуловимым; музыка вдруг пробуждала во мне такие странные физические ощущения, к которым я считал себя неспособным, но с последними замиравшими звуками оркестра эти ощущения исчезали, и я опять оставался в неизвестности и неуверенности, мне часто присущими. Болезнь, создававшая мне неправдоподобное пребывание между действительным и мнимым, заключалась в неумение моем ощущать отличие усилий моего воображения от подлинных, непосредственных чувств, вызванных случившимися со мной событиями. Это было как бы отсутствием дара духовного осязания. Всякий предмет был почти лишен в моих глазах точных физических очертаний; и в силу этого странного недостатка я никогда не мог сделать даже самого плохого рисунка; и позже, в гимназии, я при всем усилии не представлял себе сложных линий чертежей, хотя понимал ясную цель их сплетений. С другой стороны, зрительная память у меня была всегда хорошо развита, и я до сих пор не знаю, как примирить это явное противоречие: оно было первым из тех

бесчисленных противоречий, которые впоследствии погружали меня в бессильную мечтательность; они укрепляли во мне сознание невозможности проникнуть в сущность отвлеченных идей; и это сознание, в свою очередь, вызывало неуверенность в себе. Я был поэтому очень робок; и моя репутация дерзкого мальчика, которую я имел в детстве, объяснялась, как это понимали некоторые люди, например моя мать, именно сильным желанием победить эту постоянную несомоуверенность. Позже у меня появилась привычка к общению с самыми разнообразными людьми, и я даже выработал известные правила разговора, которых почти никогда не преступал. Они заключались в употреблении нескольких десятков мыслей, достаточно сложных на вид и чрезвычайно примитивных на самом деле, доступных любому собеседнику; но сущность этих простых понятий, общепринятых и обязательных, всегда была мне чужда и неинтересна. Я, однако, не мог победить в себе мелочного любопытства, и мне доставляло удовольствие вызывать некоторых людей на откровенность; их унижительные и ничтожные признания никогда не возбуждали во мне вполне законного и понятного отвращения; оно должно было бы появляться, но не появлялось. Я думаю, это происходило потому, что резкость отрицательных чувств была мне несвойственна, я был слишком равнодушен к внешним событиям; мое глухое, внутреннее существование оставалось для меня исполненным несравненно большей значительности. И все-таки в детстве оно было более связано с внешним миром, чем впоследствии; позже оно постепенно отдалялось от меня — и, чтобы вновь очутиться в этих темных пространствах с густым и осязаемым воздухом, мне нужно бывало пройти расстояние, которое увеличивалось по мере накопления жизненного опыта, то есть просто запаса соображений и зрительных или вкусовых ощущений. Изредка я с ужасом думал, что, может быть, когда-нибудь наступит такой момент, который лишит меня возможности вернуться в себя, и тогда я стану животным, — и при этой мысли в моей памяти неизменно возникала собачья голова, поедающая объедки из мусорной ямы. Однако

опасность того сближения, мнимого и действительного, которое я считал своей болезнью, никогда не была далеко от меня; и изредка в приступах душевной лихорадки я не мог ощутить моего подлинного существования; гул и звон стояли в ушах, и на улице мне становилось трудно идти, так трудно идти, как будто я с моим тяжелым телом пытаюсь продвигаться в том плотном воздухе, в тех мрачных пейзажах моей фантазии, где так легко скользит удивленная тень моей головы. В такие минуты меня оставляла память. Она вообще была самой несовершенной моей способностью — несмотря на то, что я легко запоминал наизусть целые печатные страницы. Она покрывала мои воспоминания прозрачной, стеклянной паутиной и уничтожала их чудесную неподвижность; и память чувств, а не мысли была неизмеримо более богатой и сильной. Я никогда не мог дойти до первого моего ощущения, я не знал, каким оно было; сознавать происходящее и впервые понимать его причины я стал тогда, когда мне было лет шесть; и восьми лет от роду, благодаря большому сравнительно количеству книг, которые от меня запирали и которые я все-таки читал, я был способен к письменному изложению мыслей; я сочинил тогда довольно длинный рассказ об охотнике на тигров. Из раннего моего детства я запомнил всего лишь одно событие. Мне было три года; мои родители вернулись на некоторое время в Петербург, из которого незадолго перед этим уехали; они должны были пробыть там очень немного, что-то недели две. Они остановились у бабушки, в большом ее доме на Кабинетской улице, том самом, где я родился. Окна квартиры, находившейся на четвертом этаже, выходили во двор. Помню, что я остался один в гостиной и кормил моего игрушечного зайца морковью, которую попросил у кухарки. Вдруг странные звуки, доносившиеся со двора, привлекли мое внимание. Они были похожи на тихое урчание, прерывавшееся изредка протяжным металлическим звоном, очень тонким и чистым. Я подошел к окну, но как я ни пытался подняться на цыпочках и что-нибудь увидеть, ничего не удавалось. Тогда я подкачал к окну большое кресло, взобрался на него и оттуда влез на

подоконник. Как сейчас вижу пустынный двор внизу и двух пыльщиков; они поочередно двигались взад и вперед, как плохо сделанные металлические игрушки с механизмом. Иногда они останавливались, отдыхая; и тогда раздавался звон внезапно задержанной и задрожавшей пилы. Я смотрел на них как зачарованный и бессознательно сползал с окна. Вся верхняя часть моего тела свешивалась во двор. Пыльщики увидели меня; они остановились, подняв головы и глядя вверх, но не произнося ни слова. Был конец сентября; помню, что я вдруг почувствовал холодный воздух и у меня начали зябнуть кисти рук, не закрытые оттянувшимися назад рукавами. В это время в комнату вошла моя мать. Она тихонько приблизилась к окну, сняла меня, закрыла раму — и упала в обморок. Этот случай запомнился мне чрезвычайно; я помню еще одно событие, случившееся значительно позже, — и оба эти воспоминания сразу возвращают меня в детство, в тот период времени, понимание которого мне теперь уже недоступно.

Это второе событие заключалось в том, что, когда меня только что научили грамоте, я прочел в маленькой детской хрестоматии рассказ о деревенском сироте, которого учительница из милости приняла в школу. Он помогал сторожу топить печь, убирал комнаты и очень усердно учился. И вот однажды школа сгорела, и этот мальчик остался зимой на улице в суровый мороз. Ни одна книга впоследствии не производила на меня такого впечатления: я видел этого сироту перед собой, видел его мертвых отца и мать и обгоревшие развалины школы; и горе мое было так сильно, что я рыдал двое суток, почти ничего не ел и очень мало спал. Отец мой сердился и говорил:

— Вот, научили так рано читать мальчика, — вот все потому так и вышло. Ему бегать нужно, а не читать. Слава богу, будет еще время. И зачем в детских книжках такие рассказы печатают?

Отец мой умер, когда мне было восемь лет. Помню, как мать привела меня в лечебницу, где он лежал. Я не видал его месяца полтора, с самого начала болезни, и меня поразило его

исхудавшее лицо, черная борода и горящие глаза. Он погладил меня по голове и глухо сказал, обращаясь к матери:

— Береги детей.

Мать не могла ему отвечать. И тогда он прибавил с необыкновенной силой:

— Боже мой, если бы мне сказали, что я буду простым пастухом, только пастухом, но что я буду жить!

Потом мать выслала меня из комнаты. Я вышел в садик: хрустел под ногами песок, было жарко и светло и очень далеко видно. Сев с матерью в коляску, я сказал:

— Мама, у папы все-таки хороший вид, я думал, гораздо хуже.

Она ничего не ответила, только прижала мою голову к коленям, и так мы доехали до дому.

Было в моих воспоминаниях всегда нечто невыразимо сладостное: я точно не видел и не знал всего, что со мной случилось после того момента, который я воскрешал, и я оказывался попеременно то кадетом, то школьником, то солдатом — и только им; все остальное переставало существовать. Я привыкал жить в прошедшей действительности, восстановленной моим воображением. Моя власть в ней была неограниченна, я не подчинялся никому, ничьей воле; и долгими часами, лежа в саду, я создавал искусственные положения всех людей, участвовавших в моей жизни, и заставлял их делать то, что хотел, и эта постоянная забава моей фантазии постепенно входила в привычку. Потом сразу наступил такой период моей жизни, когда я потерял себя и перестал сам видеть себя в картинах, которые себе рисовал. Я тогда много читал; помню портрет Достоевского на первом томе его сочинений. Эту книгу у меня отобрали и спрятали; но я разбил стеклянную дверцу шкафа и из множества книг вытащил именно том с портретом. Я читал все без разбора, но не любил книг, которые мне давали, и ненавидел всю «золотую библиотеку», за исключением сказок Андерсена и Гауфа. В то время личное мое существование было для меня почти неощутимо. Читая «Дон Кихота», я представлял себе все, что с ним происходи-

ло, но работа моего воображения совершалась помимо меня, и я не делал почти никаких усилий. Я не принимал участия в подвигах Рыцаря печального образа и не смеялся ни над ним, ни над Санчо Пансой; меня вообще как будто не было и книгу Сервантеса читал кто-то другой. Я думаю, что это время усиленного чтения и развития, бывшее эпохой моего совершенно бессознательного существования, я мог бы сравнить с глубочайшим душевным обмороком. Во мне оставалось лишь одно чувство, окончательно созревшее тогда и впоследствии меня уже не оставлявшее, чувство прозрачной и далекой печали, вполне беспричинной и чистой. Однажды, убежав из дому и гуляя по бурому полю, я заметил в далеком овраге нарастающий слой снега, который блестел на весеннем солнце. Этот белый и нежный свет возник передо мной внезапно и показался мне таким невозможным и прекрасным, что я готов был заплакать от волнения. Я пошел к этому месту и достиг его через несколько минут. Рыхлый и грязный снег лежал на черной земле; но он слабо блестел сине-зеленым цветом, как мыльный пузырь, и был вовсе не похож на тот сверкающий снег, который я видел издали. Я долго вспоминал наивное и грустное чувство, которое я испытал тогда, и этот сугроб. И уже несколько лет спустя, когда я читал одну трогательную книгу без заглавных листов, я представил себе весеннее поле и далекий снег и то, что стоит только сделать несколько шагов, и увидишь грязные, тающие остатки. — И больше ничего? — спрашивал я себя. И жизнь мне показалась такой же: вот я проживу на свете столько-то лет и дойду до моей последней минуты и буду умирать. Как? И больше ничего? То были единственные движения моей души, происходившие в этот период времени. А между тем я читал иностранных писателей, наполнялся содержанием чуждых мне стран и эпох, и этот мир постепенно становился моим: и для меня не было разницы между испанской и русской обстановкой.

Я очнулся от этого состояния через год, незадолго до поступления в гимназию. И уже тогда все мои ощущения были мне известны, и в дальнейшем происходило только внешнее

расширение моих знаний, очень незначительное и очень неважное. Моя внутренняя жизнь начинала существовать вопреки непосредственным событиям; и все изменения, происходившие в ней, совершались в темноте и вне какой бы то ни было зависимости от моих отметок по поведению, от гимназических наказаний и неудач. То время, когда я был всецело погружен в себя, ушло и побледнело и только изредка возвращалось ко мне, как припадки утихающей, но неизлечимой болезни.

Семья моего отца часто переезжала с места на место, нередко пересекая большие расстояния. Я помню хлопоты, укладывание громоздких вещей и вечные вопросы о том, что именно положено в корзину с серебром, а что в корзину с шубами. Отец неизменно бывал весел и беспечен, мать сохраняла строгое выражение; всеми заботами по укладыванию и путешествию ведала она. Она взглядывала на свои маленькие золотые часики, висевшие, по тогдашнему обычаю, на груди, и все боялась опоздать, и отец ее успокаивал, говоря с удивленным видом:

— Ну, у нас еще масса времени.

Сам он всегда и всюду опаздывал. Случалось, что, когда ему нужно было уезжать, он вспоминал об этом за три дня, говорил: ну уж на этот раз я буду точен — и неизменно, после поцелуев, прощанья и слез моей маленькой сестры, возвращался через полчаса.

— Просто не понимаю, как это могло выйти. В моем распоряжении было не меньше четырнадцати минут. Являюсь на вокзал — только что, говорят, ушел поезд. Удивительно.

Он всегда был занят химическими опытами, географическими работами и общественными вопросами. Это всецело его поглощало, и об остальном он нередко забывал — точно остального и не существовало. Впрочем, были еще две вещи, которые его интересовали: пожары и охота. На пожарах он проявлял необычайную энергию. Он вытаскивал из горящего дома все, что мог; и так как он был очень силен, то нередко спасал от пламени шкафы, которые выносил на спине, и од-

нажды, в Сибири, когда пылал дом одного из богатых купцов, он ухитрился спустить по деревянной лестнице несгораемую кассу. Между прочим, незадолго до пожара он обращался к этому купцу с просьбой сдать внаем одну из квартир, которая находилась в другом доме купца; но тот, узнав, что отец не коммерсант, наотрез отказался. После пожара он пришел к нам и попросил отца переехать в тот дом и даже принес какие-то подарки. Отец успел забыть о пожаре: он был рад помочь кому угодно, но его влекло туда не только сочувствие людям, находящимся в несчастье, он питал непонятную любовь к огню. Купец между тем настаивал. — Разве ж я знал, что вы мою кассу спасете? — простодушно говорил он. Отец наконец вспомнил, в чем дело, рассердился и выпроводил купца, сказав ему: вы тут всякие глупости говорите, а я занят.

Он любил физические упражнения, был хорошим гимнастом, неутомимым наездником — он все смеялся над «посадкой» его двух братьев, драгунских офицеров, которые, как он говорил, «даже кончив их эту самую лошадиную академию, не научились ездить верхом; впрочем, они и в детстве были не способны к верховой езде, а пошли в лошадиную академию потому, что там алгебры не надо учить», — и прекрасным пловцом. На глубоком месте он делал такую необыкновенную вещь, которой я потом нигде не видал: он садился, точно это была земля, а не вода, поднимал ноги так, что его тело образовывало острый угол, и вдруг начинал вертеться, как волчок, — я помню, как я, сидя голым на берегу, смеялся и потом, вцепившись в шею отца, переплывал реку на его широкой волосатой спине. Охота была его страстью. Иногда он возвращался домой на розвальнях, после суток осторожного и утомительного выслеживания зверя, — и с саней глядели стеклянные, мертвые глаза лося; он охотился за турами на Кавказе; и ему ничего не стоило поехать за несколько сот верст по простому охотничьему приглашению. Он никогда ничем не болел, не знал усталости и просиживал в своем кабинете, заставленном колбами, ретортами и ящиками с какой-то вязкой массой, много часов подряд, а потом уезжал на три дня охо-

титься за волками, мало спал и, вернувшись, опять садился за письменный стол как ни в чем не бывало. Терпение его было необычайно. Целый год, вечерами, он лепил из гипса рельефную карту Кавказа, с мельчайшими географическими подробностями. Она была уже кончена. Я как-то вошел в кабинет отца; его не было. Карта стояла наверху, на этажерке. Я потянулся за ней, дернул ее к себе — она упала на пол и разбилась вдребезги. На шум пришел отец, посмотрел на меня укоризненно и сказал:

— Коля, никогда не ходи в кабинет без моего разрешения.

Потом он посадил меня к себе на плечи и пошел к матери. Он рассказал ей, что я разбил карту, и прибавил: представь себе, придется карту опять делать с самого начала. Он принялся за работу, и к концу второго года карта была готова.

Я мало знал моего отца, но я знал о нем самое главное: он любил музыку и подолгу слушал ее, не двигаясь, не сходя с места. Он не переносил зато колокольного звона. Все, что хоть как-нибудь напоминало ему о смерти, оставалось для него враждебным и непонятным; и этим же объяснялась его нелюбовь к кладбищам и памятникам. И однажды я видел отца очень взволнованным и расстроенным, что случалось с ним чрезвычайно редко. Это произошло в Минске, когда он узнал о смерти одного из своих товарищей по охоте, бедного чиновника; я не знал его имени. Помню, что он был высоким человеком, с лысиной и бесцветными глазами, плохо одетым. Он всегда необыкновенно оживлялся, говоря о куропатках, зайцах и перепелах; он предпочитал мелкую дичь.

— Волк — это не охота, Сергей Александрович, — сердито говорил он отцу. — Это баловство. И волк баловство, и медведь баловство.

— Как баловство? — возмущался отец. — А лось? А кабан? Да знаете ли вы, что такое кабан?

— Не знаю я, что такое кабан, Сергей Александрович. Но вы меня, повторяю, не переубедите.

— Ну, бог с вами, — неожиданно успокаивался отец. — А чай вы тоже баловством считаете?

— Нет, Сергей Александрович.

— Ну тогда идемте пить чай. Мелочью все занимаетесь.

Вот я посмотрю, сколько вы чаю можете выпить.

В Минске частыми нашими гостями были этот чиновник и художник Сиповский. Сиповский был высокий старик с сердитыми бровями, борзятник и любитель искусства. Он был громаден и широк в плечах; карманы его отличались страшной глубиной. Один раз, придя к нам и не застав дома никого, кроме меня и няни, он поглядел на меня в упор и отрывисто спросил:

— Петуха видел?

— Видел.

— Не боишься?

— Нет.

— Вот смотри.

Он залез в карман и вытащил оттуда огромного живого петуха. Петух застучал когтями по полу и принялся кружиться по передней.

— А вам петух зачем? — спросил я.

— Рисовать буду.

— Он не будет сидеть смирно.

— А я заставлю.

— Нет, не заставите.

— Нет, заставлю.

Мы вошли в детскую. Няня, взмахивая руками, загнала туда петуха. Сиповский, придерживая его одной рукой, другой обвел мелом круг по полу — и петух, к моему изумлению, покачнувшись раза два, остался неподвижным. Сиповский быстро нарисовал его. Помню еще один его рисунок: охотник, наклонившись набок, скачет на лошади; прямо перед ним две борзые насаждают на волка. Лицо у охотника красное и отчаянное; все четыре ноги коня как-то сплелись вместе. Эту картину Сиповский подарил мне. Я очень любил вообще изображения животных, знал, никогда их не видя, множество пород диких зверей и три тома Брема прочел два раза с начала и до конца. Как раз в то время, когда я читал второй том «Жизни

животных», оценилась сука отца, сеттер-лаверак. Отец роздал слепых собачонок знакомым и оставил себе только одного щенка, самого крупного. Дня через три вечером к нам прибежал чиновник.

— Сергей Александрович, — сказал он со слезами в голове, даже не поздоровавшись. — Вы всех щенят роздали? Что же, обо мне забыли?

— Забыл, — ответил отец, глядя в пол. Ему было неловко.

— Так ни одного и не осталось?

— Один есть, да это для меня.

— Отдайте его мне, Сергей Александрович.

— Не могу.

— Я, Сергей Александрович, — сказал чиновник с отчаянием, — честный человек. Но если вы не отдадите щенка, я решусь и украду.

— Попробуйте.

— А если украду и вы не заметите?

— Ваше счастье.

— Требовать обратно не будете?

— Нет.

Когда он ушел, отец засмеялся и сказал с удовольствием:

— Вот это охотник. Вот это я понимаю.

Он был очень доволен, и когда щенок через несколько дней действительно пропал, он для виду рассердился, даже сказал, что, дескать, в доме ничего убересть нельзя, — его неожиданно поддержала няня, сказав: нынче собаку, а завтра самовар унесут, — и сестра моя, необыкновенно любопытная, спросила мать: а потом, мама, пианино, да? — но исчезновение щенка, видимо, нисколько его не огорчило. Чиновник не показывался недели две, потом явился. — Как собака? — спросил отец. Тот только широко улыбнулся и ничего не ответил. Щенок этот вырос необыкновенно быстро. Звали его Трезором; и очень часто, когда чиновник приходил к нам, Трезор прибежал вслед за ним, и мы его считали почти собственным. Один раз — отец куда-то уехал, мать читала у себя, был осенний солнечный день — Трезор с высунутым языком и окровавленной мордой

выскочил откуда-то из-за угла, бросился ко мне, завизжал, схватил меня зубами за штаны и потащил вон. Я побежал за ним. Мы прошли сквозь еврейский квартал, находившийся на окраине, вышли за город, в поле, и там я увидел чиновника, который неподвижно лежал на траве, лицом вниз. Я тормозил его, звал, пытался заглянуть ему в лицо, но он оставался неподвижен. Трезор лизал его голову, на которой запеклась кровь, растекшаяся по исковерканной лысине. Потом пес сел на задние лапы и завыл; он захлебывался от воя и то визжал, то опять принимался выть. Мне стало очень жутко. Мы были втроем в поле, дул ветерок с реки; страшное старинное ружье валялось рядом с телом чиновника. Не помню, как я добежал домой. Увидев отца, я тотчас рассказал ему все. Он нахмурился и, не сказав ни слова, ускакал на лошади, которую еще не успели расседлать, так как он только что приехал. Он вернулся через двадцать минут и объяснил, что чиновник, неловко разряжая ружье, пустил себе в лоб весь заряд крупной дроби. Отец был чрезвычайно расстроен несколько дней, не шутил, не смеялся, даже не ласкал меня. За обедом или за ужином он вдруг переставал есть и задумывался.

— Ты о чем? — спрашивала мать.

— Какая бессмысленная вещь! — говорил он. — Как глупо погиб человек! Вот, нет его больше — и ничего не поделаешь.

И только спустя некоторое время он опять стал таким же, как всегда, и по-прежнему каждый вечер рассказывал продолжение бесконечной сказки: как мы всей семьей едем на корабле, которым команду я.

— Маму мы с собой не возьмем, Коля, — говорил он. — Она боится моря и будет только расстраивать храбрых путешественников.

— Пусть мама останется дома, — соглашался я.

— Итак, мы, значит, плывем с тобой в Индийском океане. Вдруг начинается шторм. Ты капитан, к тебе все обращаются, спрашивают, что делать. Ты спокойно отдаешь команду. Какую, Коля?

— Спустить шлюпки! — кричал я.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЕЧЕР У КЛЭР	5
ПИЛИГРИМЫ	135
ПРОБУЖДЕНИЕ	317
ЭВЕЛИНА И ЕЕ ДРУЗЬЯ	449

Газданов Г.

Г 13 Малое собрание сочинений / Гайто Газданов. — СПб. :
Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 672 с.
ISBN 978-5-389-07529-0

С Гайто Газдановым (1903–1971), одним из самых ярких прозаиков русского зарубежья, российские читатели познакомились сравнительно недавно. Как прозаик Газданов сложился во Франции, но писал он по-русски и остался на всю жизнь русским писателем. Его удивительный, ни на что не похожий творческий почерк Вячеслав Иванов определял как магический реализм. По вошедшим в настоящий сборник прекрасным романам читатели по достоинству смогут оценить выдающийся талант писателя.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6

Литературно-художественное издание

ГАЙТО ГАЗДАНОВ
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Виктория Манацкова
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Михаила Львова
Корректоры Елена Шнитникова, Станислава Кучепатова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

Подписано в печать 09.10.2017.
Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆. Печать офсетная.
Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 42.
Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



Y-AMS-15533-02-R

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru,

www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей

и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

www.azbooka.ru/new_authors/